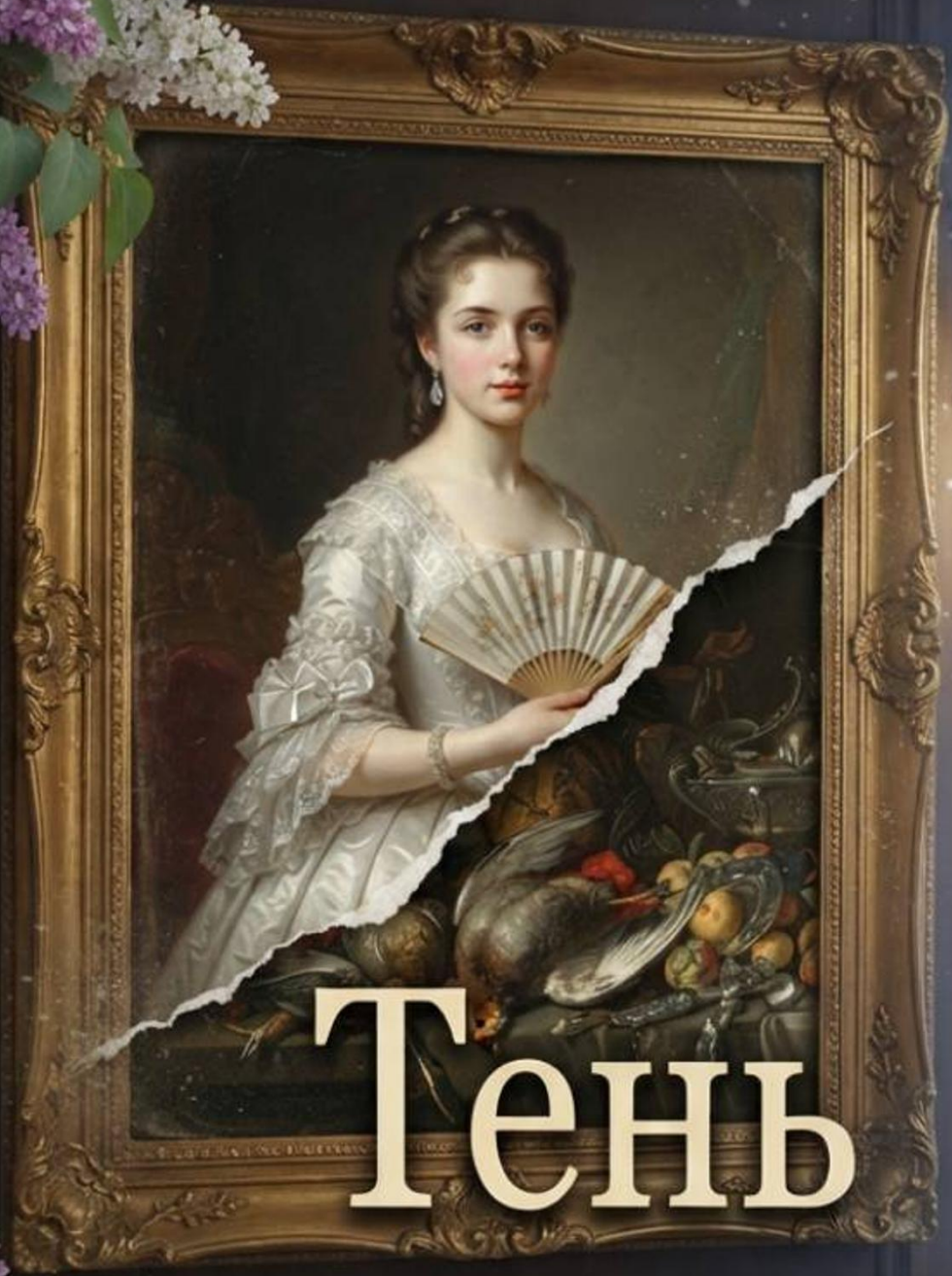
Хроники старого переплета



Тень на холсте

детективный роман

Елена Копс

Елена Копс

Тень на холсте (Хроники старого переплета)

«Автор»
2026

Копс Е.

Тень на холсте (Хроники старого переплета) / Е. Копс — «Автор», 2026

Петербургу — белые ночи, особняку на Каменном острове — столетняя тайна. Реставратор Мария Верещагина приезжает разбирать архив князей Галицыных, но находит дневник управляющего 1918 года: под портретом княгини спрятан фламандский Снейдерс. Когда владелец особняка найден убитым у разрезанного холста, а под подозрение попадает давний друг Ильи Корсакова — следствие заходит в тупик. Но Маша привыкла читать между строк: старые гвозди, затяжки на льне и журналы пропусков раскрывают совсем другую правду. Пока ценный груз готовят к отправке в Дубай, ей придется сыграть на опережение — там, где за красивой ложью скрывается смертельный расчет. «Тень на холсте» — третья книга серии «Хроники старого переплета»: камерный детектив об искусстве, старых долгах, верности и тайнах, которые не тонут даже в серебристом свете северной ночи.

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Тень на старом портрете 5
Глава 1 6
Глава 2 10
Глава 3 15
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Елена Копс
Тень на холсте (Хроники старого переплета)

Тень на старом портрете

Хроники старого переплета. Книга третья

Глава 1

Сирень во дворе на Большой Пушкарской зацвела в ночь с четверга на пятницу, как раз когда они приехали. Маша потом так и запомнила: машина въезжает в арку, немецкая овчарка Брут на заднем сиденье встает и упирается лбом в стекло, а посреди двора, в квадрате между четырьмя желтыми стенами, стоит огромный куст, весь в тяжелых лиловых гроздьях, и пахнет так, что хочется сесть прямо на ступеньку подъезда и никуда больше не ходить. Был двенадцатый час ночи. Было светло. Не как днем, конечно, а так, будто кто-то выключил солнце, но забыл выключить небо.

– Белые ночи, – сказал Корсаков, глуша мотор. – Привыкай. Спать будешь плохо.

– Я и в Снегирях сплю плохо.

– В Снегирях у тебя Фунтик на ногах. А здесь только Брут, а он на ноги не ложится. Он ложится поперек.

Квартиру нашли через холдинг. Пятый этаж без лифта, две комнаты, кухня с газовой колонкой, которая включалась с таким звуком, будто где-то внутри стены просыпался небольшой дракон, и окна прямо на крыши. Крыши были рыжие, зеленые, серые, с трубами, с антеннами, с какими-то будочками и лесенками, и по ним утром ходили голуби с таким деловым видом, словно это они здесь платили за аренду. Хозяйка, пожилая учительница музыки, уехала на лето к сыну в Выборг и оставила на кухне записку, написанную круглым школьным почерком: «Цветы поливать через день. Пианино не трогать, оно расстроено, но я к нему привыкла». Пианино стояло в большой комнате, черное, с подсвечниками, и Маша в первый же вечер, когда Корсаков пошел выгуливать Брута, тихонько нажала одну клавишу. Звук вышел жалобный и кривой, как будто пианино тоже было учительницей музыки на пенсии и обижалось, что его не взяли в Выборг.

На холодильник Маша повесила магнит. Деревянный, в виде раскрытой книги, с кривыми выжженными буквами. Она везла его из Москвы в косметичке, завернутым в носовой платок, и Корсаков, увидев, как она его достает, ничего не сказал, только хмыкнул и отвернулся к окну. Но Маша видела, что он доволен.

Работать ей предстояло с понедельника.

Звонок был в апреле, в самом начале, когда в Снегирях еще лежал по канавам серый ноздреватый снег. Позвонила женщина с низким, хорошо поставленным голосом и представилась Верой Григорьевной Ланской, главным хранителем фонда «Галицынский дом». Фонд, объяснила она, занимается особняком князей Галицыных на Каменном острове, его реставрацией и его собранием, а собрание у них, Мария Андреевна, такое, что одной ей, Ланской, до пенсии не разобрать, тем более что пенсия у нее, если честно, была еще при Ельцине. Там письма, дневники, счета, альбомы, фотографии, семейные портреты, всего около четырех тысяч единиц хранения, и половина в состоянии, о котором лучше не говорить по телефону. Нужен человек на три недели. Для начала. Оплата такая-то. Проживание фонд не оплачивает, но может помочь найти.

Маша тогда долго держала трубку у уха и молчала, так что Ланская даже спросила, не прервалась ли связь.

Деньги были хорошие. Работа была такая, о которой Маша мечтала лет с двадцати, когда первый раз на практике держала в руках письмо с княжеским гербом и боялась дышать. А то, что позвали именно ее, Маша объяснила себе просто: после истории с Вороновым ее фамилия мелькнула в паре статей, и Ираида Павловна, которая знала всех архивистов от Калининграда до Владивостока, наверняка кому-то что-то сказала. Ираида Павловна, когда Маша ей позвонила, ответила, что ничего никому не говорила, но Ланскую знает, Ланская прекрасная, хоть и курит, и ехать надо обязательно.

А через два дня, в воскресенье, Корсаков за обедом сказал, что в конце мая ему тоже нужно в Петербург. Холдинг присматривается к одному фонду. Недели на две, может, на три.

– К какому фонду? – спросила Маша.

– К разным, – сказал он и взял второй кусок пирога.

Бабушка тогда посмотрела на него долгим взглядом поверх очков. Маша тоже посмотрела. Корсаков спокойно ел пирог. Совпадение было уж очень удобное, и Маша, честно говоря, решила, что он все устроил сам, чтобы поехать с ней, и что признаваться в этом ему неловко. От этой мысли ей стало тепло, и она не стала ничего спрашивать.

Теперь, в Петербурге, она понимала, что, может быть, зря не спросила.

Первый звонок был в ночь на пятницу, в начале третьего. Маша проснулась оттого, что на тумбочке со стороны Корсакова загудел телефон. Он не звенел, у Корсакова телефон никогда не звенел, только гудел, коротко и сердито, как шмель в банке. Корсаков взял его сразу, после первого гудка, будто и не спал, посмотрел на экран и встал. Ничего не сказал. Вышел на кухню и прикрыл за собой дверь.

Светло было, как в сумерки. Маша лежала и смотрела на потолок с лепной розеткой, от которой расходилась тонкая трещина в сторону окна. Из кухни доносился голос. Слов было не разобрать, только интонация: низкая, ровная, терпеливая. Так он разговаривал с Брутом, когда тот боялся грозы. Минут через двадцать хлопнула дверца холодильника, потом зашумела вода в чайнике, потом стало тихо. Корсаков вернулся через час. Лег осторожно, чтобы ее не разбудить, и Маша сделала вид, что спит.

Утром он варил кофе в турке, которую нашел у учительницы в шкафу, и был такой же, как всегда. Спокойный, небритый, в старой серой футболке. Брут сидел у его ног и следил за туркой.

– Кто звонил ночью? – спросила Маша.

– По работе, – сказал Корсаков. – Тебе с молоком?

– Я пью чай.

– Я помню. Я спрашиваю, тебе в чай молоко?

Она сказала, что да, и разговор на этом кончился.

Пятница и суббота были такие, какие бывают, наверное, раз в жизни, и потом их вспоминаешь долго, перебирая по минутам, как фотографии. Они ходили пешком. Корсаков ходил много и быстро, а Маша медленно и все время останавливалась, потому что в каждом втором доме на Петроградской было что-нибудь, на что нельзя не посмотреть: то кованый балкон с подсолнухами, то дверь с медной ручкой в виде львиной лапы, то эркер, в котором стоял фикус ростом с человека. Корсаков останавливался вместе с ней и терпеливо ждал. Брут тоже ждал и при каждой остановке садился, как будто им предстояло стоять тут до вечера. Они ели пышки на Большой Конюшенной, и Маша обсыпала сахарной пудрой новый кардиган, светлый, льняной, который бабушка выдала ей со словами «Петербург, Машенька, это не Снегири, там люди смотрят». Они покупали на Сытном рынке редиску, молодую картошку и клубнику, первую, узбекскую, крупную и почти без запаха, и продавщица, полная женщина в белом халате поверх кофты, сказала Корсакову: «Своя пойдет к Иванову дню, а эту берите, раз приспичило», и он, к удивлению Маши, засмеялся.

Вечером в субботу они дошли до Невы. Стояли у парапета, и вода была серая, тяжелая, медленная, и с нее тянуло холодом и чем-то свежим, огуречным, хотя никаких огурцов вокруг не было. Корсаков стоял сзади и держал Машу за плечи, потому что ей было холодно в льняном кардигане, а свою куртку он ей отдать не мог: на нем была одна рубашка, куртку он оставил дома, сказав, что в мае в Питере тепло. Оказалось, что нет.

– Ты здесь бывал раньше? – спросила Маша.

– Бывал.

– Часто?

Он помолчал.

– Раньше часто. Потом нет.

Она ждала, что он скажет еще что-нибудь. Он не сказал. Над Петропавловкой висела бледная луна, а солнце еще не село, и это было так странно и так красиво, что Маша решила не спрашивать. Пусть, подумала она. Захочет, расскажет сам.

В воскресенье утром позвонила бабушка. Бабушка звонила каждый день в девять тридцать, сразу после того, как заканчивала гимнастику и выпивала стакан теплой воды с лимоном, и разговаривала минут сорок, так что Маша успевала за это время позавтракать, вымыть посуду и полить учительские герани. Новостей из Снегирей было много. Огурцы в теплице взошли. У Беловых, где таксы, сменили забор, и теперь таксы лают на новый забор, потому что не узнают его. Фунтик по-прежнему живет у Зои Серафимовны, на подушке с лебедями, и к бабушке заходит в гости раз в день, ненадолго, как зять. Марик приезжал, съел все котлеты, заснул на диване и уехал, забыв на веранде какую-то коробку с проводами, которая теперь пищит по ночам.

– А как Илюша? – спросила бабушка под конец.

Бабушка давно звала его Илюшей. Корсаков, когда в первый раз это услышал, поперхнулся чаем, но спорить не стал. Со своей бабушкой, рассказывал он, он тоже никогда не спорил.

– Хорошо, – сказала Маша. – Гуляем.

– Маша, – сказала бабушка тем голосом, который у нее был для третьего акта. – Ты трогаешь очки.

– Ба, ты меня не видишь.

– Мне не надо тебя видеть. У тебя голос делается такой, как будто ты трогаешь очки. Что случилось?

Маша сняла очки, положила их на подоконник и посмотрела на крыши.

– Ему звонят по ночам, – сказала она. – Уже два раза. Он уходит на кухню и закрывает дверь. И ничего не говорит.

Бабушка помолчала. Маша слышала в трубке, как на снегиревской веранде тикают ходики.

– А ты спрашивала?

– Спрашивала. Он сказал, по работе.

– Ну и все, – сказала бабушка неожиданно легко. – Значит, по работе. Машенька, этот человек перекрыл тебе крышу в ноябре, под снегом. Если бы у него была другая женщина, он бы, поверь мне, перекрыл крышу ей. Мужчины такого сорта не разменяются. У них одна крыша.

Маша засмеялась, а потом подумала, что бабушка, наверное, права. А потом подумала про Глеба. Глебу тоже звонили по ночам, давно, в последний год, и он тоже уходил на кухню и закрывал дверь, и тоже говорил «по работе», и это действительно было по работе, в каком-то смысле. Ее звали Вика, она была редактором отдела культуры, и Маша узнала о ней последней, как всегда узнают последними. Она тогда тоже ничего не спрашивала. Ей казалось, что если не спрашивать, то ничего и не будет.

И еще Маша подумала про магнит в виде клубники. На холодильнике в московской квартире Корсакова, на котором когда-то висела записка от жены: что она так больше не может, что устала ждать и не знать. Корсаков этот магнит выбросил, в декабре. А потом привез Маше на Новый год деревянную книгу, на которой написал «Не потечет». Маша посмотрела на холодильник. Книга висела на месте.

В воскресенье днем они пошли на Каменный остров.

Это была ее идея. До понедельника оставались сутки, и Маше хотелось хотя бы снаружи посмотреть на дом, в котором она будет работать. Корсаков согласился легко, даже слишком легко, и всю дорогу, пока они шли через Каменноостровский мост, был какой-то тихий и сосре-

доточенный, как будто считал про себя. На острове было зелено и почти пусто. Старые дачи стояли за решетками в глубине садов, деревянные, каменные, с башенками, с верандами, с флюгерами, и все утопали в сирени, белой и лиловой, а между ними шли тихие дорожки, по которым изредка проезжал велосипедист или проходила бабушка с коляской.

Особняк Галицыных они увидели издалека. Сначала башню: восьмигранную, с острой зеленой крышей и с флюгером в виде парусника. Потом сам дом, двухэтажный, низ каменный, оштукатуренный, светло-желтый, верх деревянный, с резными наличниками и с длинной застекленной галереей вдоль второго этажа. Перед домом был газон, а за газоном такие заросли сирени, что окна первого этажа проглядывали сквозь них, как сквозь кружево. У ворот стояла будка охраны, новенькая, стеклянная, и в будке сидел молодой парень в черной форме и смотрел в телефон.

– Красиво, – сказала Маша.

Корсаков не ответил. Он смотрел не на дом. Он смотрел на будку охраны, внимательно и как-то очень неподвижно, и Маша увидела, как у него дернулась щека.

– Ты чего? – спросила она.

– Ничего. – Он отвернулся. – Пойдем. Брут хочет к воде.

Брут ничего такого не хотел. Брут сидел на дорожке и внимательно нюхал сирень. Но Корсаков уже шел прочь, к Малой Невке, и Маше пришлось его догонять.

В ночь на понедельник телефон загудел снова. В половине второго. Корсаков опять ушел на кухню, но в этот раз дверь закрылась не до конца, и Маша, лежа в светлых сумерках, услышала несколько слов. Она не хотела слушать. Она честно отвернулась к стене. Но слова все равно долетели, потому что голос у Корсакова был не такой, как в прошлые разы. Жесткий.

– Я тебе сказал, не по телефону, – говорил он. – Нет. Завтра увидимся. Да как обычно. Ну и пусть видит, мне скрывать нечего. Нет, это тебе есть что скрывать, а не мне.

Потом наступила тишина, долгая, а потом он сказал совсем тихо, Маша едва разобрала:

– Держись. Слышишь? Как она?

Корсаков вернулся минут через десять. Лег. Долго лежал на спине, Маша чувствовала это, не поворачиваясь. Потом осторожно, чтобы не разбудить, положил ладонь ей на плечо. Ладонь была тяжелая и теплая. Маша лежала тихо, смотрела на трещину у окна, которая на рассвете стала розовой, и думала, что «как она» можно спросить про кого угодно. Про мать. Про сестру. Про собаку, в конце концов. И что бабушка, наверное, права, у таких мужчин одна крыша.

И что она ужасно, глупо, совершенно по-детски боится спросить еще раз.

Глава 2

В понедельник Корсаков отвез ее на Каменный сам.

Маша собиралась ехать на автобусе, она даже нашла с вечера, какой номер и где остановка, но утром он молча снял с крючка ключи от машины и молча открыл ей дверь подъезда, и спорить было как-то глупо. Брут ехал сзади, положив морду Маше на плечо, и сопел в ухо. В машине пахло собакой и кофе. Корсаков был побрит, в темно-синей рубашке, и Маша вдруг подумала, что для человека, который везет женщину на работу, он одет слишком тщательно.

Охранник в стеклянной будке у ворот был уже другой, не вчерашний мальчик, а пожилой, с усами, в очках на шнурке. Он долго изучал Машин паспорт, потом звонил куда-то, потом выписал ей временный пропуск, белую пластиковую карточку на синем шнурке, и объяснил, что постоянный сделают к среде, когда начальник охраны подпишет. Корсакову он пропуск выписывать не стал, хотя тот и не просил. Корсаков вышел из машины, обошел ее, постоял у ворот, глядя на дом.

– Я тебя провожу до двери, – сказал он.

– Илья, мне тридцать четыре года.

– Я помню. До двери.

От ворот к дому вела дорожка, посыпанная мелким красным гравием, и гравий громко хрустел под ногами, так что в утренней тишине казалось, будто они идут по сахару. Сирень с обеих сторон стояла стеной. Пахло ею, мокрой землей и чем-то еще, резким и знакомым, отчего у Маши сразу дрогнуло сердце. Скипидар. Льняное масло. Где-то в доме работали реставраторы живописи, и запах их мастерской выходил наружу через открытые форточки и мешался с сиренью.

Дверь была тяжелая, дубовая, с медным кольцом, и открылась прежде, чем Маша успела в нее постучать.

На пороге стоял высокий худой человек лет сорока пяти, в черном костюме без галстука, с коротко стриженной седой головой. Лицо у него было длинное, усталое, с глубокими складками от носа к углам рта, а глаза светлые, почти прозрачные. Он смотрел на Машу секунду, вежливо, оценивающе, как смотрят охранники, а потом перевел взгляд ей за плечо, на Корсакова, и Маша увидела, как это лицо изменилось. Ничего особенного, никакой гримасы. Просто будто кто-то задернул в окне штору.

– Здравствуй, Илья, – сказал он.

– Здравствуй, Костя.

Они пожали друг другу руки. Коротко, крепко, один раз. Маше показалось, что Корсаков хотел задержать эту руку, а тот, другой, ее отнял. Хотя, может быть, ей просто показалось.

– Константин Белов, – сказал седой, поворачиваясь к Маше. – Начальник охраны. Вы Мария Андреевна, я знаю. Вера Григорьевна вас ждет, она в башне. Я провожу.

– Мы знакомы, – сказал Корсаков Маше. Сказал так, будто она спрашивала. – Работали вместе. Давно.

– Двенадцать лет назад, – сказал Белов, ни на кого не глядя. – В Москве. Илья Романович был моим начальником. – Он отступил, пропуская Машу внутрь. – Проходите. Илья, ты подождешь здесь или поедешь?

Корсаков постоял еще секунду. Потом сказал, что поедет, и что заберет Машу в шесть, и пошел обратно по хрустящему гравию, не оборачиваясь. Маша смотрела ему в спину, пока дверь не закрылась.

Внутри было прохладно и полутемно. Холл оказался неожиданно высоким, в два света, с деревянной лестницей, которая поднималась вдоль стены и уходила на галерею второго этажа. Пол был выложен плиткой, черной и белой, в шахматном порядке, и некоторые плитки были

новые, яркие, а некоторые старые, вытертые до серого, так что вся шахматная доска казалась игрой, которую давно бросили на середине. Под лестницей стоял стол с мониторами, за которыми никто не сидел. Пахло воском, известкой и снова скипидаром.

Белов шел впереди, широким шагом, слегка припадая на левую ногу. Маша заметила это только на лестнице, где хромота стала виднее. Он, кажется, почувствовал ее взгляд, потому что сказал, не оборачиваясь:

– Колено. Старое. На погоду ноет, а погода здесь всегда.

Они поднялись на галерею. Это была та самая застекленная галерея, которую Маша вчера видела с улицы, длинная, светлая, с окнами во всю стену, выходящими в сад. С другой стороны висели портреты. Человек пятнадцать Галицыных разных эпох смотрели на Машу из тяжелых золоченых рам, кто строго, кто рассеянно, кто с каким-то тайным насмешливым весельем. Генерал в мундире с эполетами. Дама в чепце и с моськой на коленях. Мальчик в матроске, бледный, с огромными глазами. А в самом конце галереи, в простенке между двумя окнами, висел портрет больше остальных, почти в человеческий рост, и Маша невольно замедлила шаг.

На портрете была молодая женщина в белом платье, стоящая у балюстрады. Платье было написано так, что хотелось потрогать: тяжелый шелк, кружево, блик на складке. Женщина держала в руке веер, сложенный, и смотрела куда-то мимо зрителя, вбок, через плечо, как будто ее окликнули, и она обернулась, но еще не решила, отвечать или нет. Лицо у нее было некрасивое, скуластое, с тяжелым подбородком, и при этом такое живое, что Маша почему-то смутилась, будто застала ее за чем-то личным.

– Княгиня Елизавета Николаевна, – сказал Белов. – Девяносто третий год. Ну, тысяча восемьсот. Здесь все на нее смотрят. Сюда.

В башню вела узкая винтовая лестница, железная, гулкая. Наверху была круглая комната с восемью окнами, по окну на каждую грань, и в каждом окне был свой кусок мира: сирень, Малая Невка, крыша соседней дачи, верхушки лип, кусок неба, снова сирень. Вдоль стен стояли стеллажи, на стеллажах коробки, папки, связки писем, перевязанные выцветшими лентами, альбомы в бархатных переплетах. А посреди комнаты, за большим круглым столом, покрытым зеленым сукном, сидела маленькая сухая женщина в черной водолазке, с серебряными волосами, стриженными коротко, по-мальчишески, и курила, держа сигарету далеко от себя, над пепельницей, стоявшей на подоконнике.

– Вы Верещагина, – сказала она, не вставая. – Слава богу. Я уже думала, вы передумали. Садитесь. Нет, не туда, там пыль, туда. Константин Сергеевич, спасибо. Я знаю, что в башне не курят. Я старая, мне можно.

Белов ничего не ответил и ушел. Слышно было, как он спускается по железной лестнице, медленно, тяжело, ставя на каждую ступеньку сначала правую ногу.

Ланская затушила сигарету, открыла окно пошире, помахала рукой, разгоняя дым, и посмотрела на Машу. Взгляд у нее был острый и веселый.

– Ну? – спросила она. – Как вам наш Белов?

– Он друг моего... – Маша запнулась. – Знакомый Ильи Романовича.

– Знаю. Он мне и сказал, кого звать. – Ланская пожала плечами, будто это была самая обыкновенная вещь на свете. – Я искала человека в архив, говорила об этом на совещании, а он после совещания подошел и сказал, что знает одну реставраторшу из Подмосковья, которая по нитке на переплете вычислила убийцу. Я посмотрела ваши работы. У вас статья о сазоновской школе переплета, я прочла. Хорошая статья. Я бы вас и так позвала, если бы знала, что вы существуете.

Маша сидела очень прямо и молчала. Внутри у нее как будто кто-то тихо опрокинул стакан с водой, и вода медленно растекалась.

Значит, не Ираида Павловна. И не статьи после Воронова. Белов. Друг Корсакова, который двенадцать лет назад был у Корсакова в подчинении, а сегодня утром отнял руку. И Корсаков ничего ей не сказал. Ни в апреле, ни потом. «Холдинг присматривается к одному фонду».

– Вы побледнели, – сказала Ланская. – Это от лестницы. Тут все бледнеют, восемьдесят две ступеньки. Давайте я вам покажу, что у нас есть, а потом пойдем знакомиться с начальством. Начальство у нас приходит к одиннадцати.

Часы до одиннадцати пролетели так, что Маша их не заметила.

Архив был в состоянии, которое Ланская назвала «как после пожара, только без пожара». Его хранили по-разному. Что-то в сундуках на чердаке, что-то в подвале, что-то, в девяностые, в квартире у одной бывшей сотрудницы музея, которая держала коробки под кроватью и на антресолях и умерла, так никому и не сказав, что у нее под кроватью семейная переписка князей Галицыных за полтора века. Письма были на русском, на французском, немного на немецком. Бумага была всякая: плотная верже с водяными знаками, тонкая почтовая, голубоватая, папиросная, через которую можно читать газету. Какие-то пачки слиплись от сырости в кирпичи. Какие-то были изъедены жучком так, что листы напоминали кружево. Маша брала их в руки, одну за другой, и забывала обо всем. О Белове. О Корсакове. О ночных звонках.

На одной пачке, перевязанной красной тесемкой, лежала засушенная фиалка. Совсем плоская, коричневая, почти прозрачная. Маша не стала ее трогать.

В одиннадцать снизу донесся шум, голоса, хлопанье двери, и Ланская сказала: «Ну вот. Пришел», – и они пошли вниз.

Вадим Аркадьевич Штерн оказался совсем не таким, каким Маша представляла себе банкиров. Невысокий, плотный, лысый, загорелый, лет пятидесяти пяти, в дорогом сером костюме и в белых кроссовках. Он двигался быстро, говорил быстро, смеялся быстро, и вокруг него сразу становилось шумно и тесно, как будто он один занимал места больше, чем все остальные. Пожимая Маше руку, он одновременно разговаривал по телефону, отдавал какие-то распоряжения молодой женщине с планшетом и показывал куда-то наверх, на потолок, где в лепнине темнело старое пятно от протечки.

– Верещагина! – сказал он. – Отлично. Отлично. Мне про вас рассказывали. Воронов, да? Шагреневая кожа? Я читал. Это же надо, по ниточке. Слушайте, я вам дам все, что нужно. Что нужно? Деньги, люди, коробки? Вера Григорьевна, дайте ей все. – Он повернулся к Маше и вдруг сказал совсем другим голосом, медленным и серьезным: – Здесь сто лет никто ничего не делал. Понимаете? Сто лет. Тут при большевиках был санаторий для партийных, потом детский сад, потом склад, потом вообще ничего. Я этот дом купил на аукционе, как кошку в мешке. И теперь я хочу знать, что в мешке. Все. До последней бумажки.

И снова схватился за телефон.

Вторым было начальство по искусству. Виктор Павлович Макаров, искусствовед, эксперт, «мой мозг», как отрекомендовал его Штерн. Макаров был, наоборот, высокий, худой и очень красивый той ухоженной, немного утомленной красотой, какая бывает у мужчин, которые давно и всерьез за собой следят. Лет сорока пяти. Темные волосы с благородной сединой на висках. Шелковый шейный платок. Руки с длинными пальцами и такими ногтями, каких у Маши не было никогда в жизни. От него пахло дорогим одеколоном, чем-то древесным и горьким, и запах этот оставался в воздухе после того, как он отходил. Он поцеловал Маше руку. Маша, у которой на пальцах были чернильные пятна и на указательном ожог от горячего шпателя, не знала, куда девать глаза.

– Наслышан, – сказал Макаров. Голос у него был бархатный, очень петербургский, с растяжкой. – Сазоновский узел. Прелестно. Будете у нас работать с бумагой, а я, увы, только с холстами. Холсты, знаете, грубее. Но благодарнее. Бумага все помнит, а холст все прощает.

– Холст тоже помнит, – сказала Маша. – Просто под лаком не видно.

Макаров посмотрел на нее с интересом и засмеялся.

И третьей была княжна.

Княжна Ирина Георгиевна Галицына появилась в холле внезапно, никто не слышал, как она вошла. Просто вдруг оказалась у лестницы. Ей было, наверное, под восемьдесят, но держалась она так прямо, будто проглотила шпагу. Маленькая, очень худая, в мужской черной шляпе, в длинном старом плаще цвета хаки и в кедах. В руке у нее была трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Лицо, все в мелких морщинках, было скуластое, с тяжелым подбородком. И Маша, взглянув на нее, вздрогнула: это было лицо с портрета на галерее. Постаревшее на сто с лишним лет, высохшее, но то же самое.

– А, – сказала княжна, глядя на Штерна. – Вы здесь. Хорошо. Значит, я вам скажу при свидетелях. Вы вор, Вадим Аркадьевич.

Настала тишина. Молодая женщина с планшетом замерла. Ланская вздохнула и полезла в карман за сигаретами.

– Ирина Георгиевна, – сказал Штерн с бесконечным терпением. – Доброе утро. Мы это обсуждали. Мы это обсуждали много раз.

– Обсуждали. А бриллианты где? – Княжна стукнула тростью по черной плитке. Звук вышел звонкий. – Прабабушкины. Которые она оставила в этом доме, когда уезжала. Отец мне говорил. Дед ему говорил. Они здесь. Вы купили дом, а бриллианты не покупали. Это не ваше.

– Если мы их найдем, – сказал Штерн, – они будут ваши. Я вам это обещал. Письменно.

– Вы их уже нашли, – сказала княжна спокойно. – И спрятали. Я знаю. Я все знаю. – Она повернулась и увидела Машу. Посмотрела на нее долгим взглядом, снизу вверх, из-под шляпы. Глаза у нее были выцветшие, голубые, удивительно ясные. – А это кто?

– Реставратор, – сказала Ланская. – Мария Андреевна. Будет разбирать архив.

– Мои письма, – сказала княжна.

– Письма вашей семьи, – осторожно сказала Маша.

Княжна помолчала. Потом вдруг кивнула, коротко, будто что-то для себя решила.

– Руки у вас хорошие, – сказала она. – Рабочие. Не то что у этого. – Она мотнула шляпой в сторону Макарова, и Макаров вежливо улыбнулся. – Если найдете там про бриллианты, скажете мне. Мне. Не им.

И ушла так же неслышно, как пришла, постукивая тростью по шахматному полу.

– Каждый день, – сказал Штерн, глядя ей вслед. В голосе у него не было злости, скорее усталость и что-то вроде нежности. – Каждый божий день, с февраля. Пешком от самого дома, по 8 километров. Я ей предлагал машину, она сказала, что в машину к ворам не садится.

– Бриллианты правда были? – спросила Маша.

Штерн развел руками. Макаров чуть заметно пожал плечами. А Ланская, закурив прямо в холле, под табличкой «Не курить», сказала:

– Были, не были. В каждом старом доме что-нибудь было. Идемте, Мария Андреевна, у нас обед. Сегодня клубника, я с утра на Мальцевский ездила. Своя еще не пошла, но эта тоже ничего.

В шесть Корсаков ждал ее у ворот. Он стоял, прислонившись к машине, и разговаривал с усатым охранником о рыбалке на Ладоге. Увидев Машу, он выпрямился, улыбнулся, открыл ей дверь. Брут на заднем сиденье радостно застучал хвостом по обивке.

Они ехали молча. Маша смотрела в окно, на сирень, на мост, на Петропавловку. Корсаков тоже молчал, но иначе, спокойно, как молчат после хорошего дня. Только на светофоре у Каменноостровского спросил:

– Как архив?

– Прекрасный, – сказала Маша. – Ужасный. Прекрасный.

Он кивнул, довольный. Светофор переключился.

– Илья, – сказала Маша. – Это Белов звонит тебе по ночам?

Он не ответил сразу. Машина тронулась, и он смотрел на дорогу, и руки у него на руле лежали спокойно. Только пальцы, Маша увидела, чуть сжались.

– Да, – сказал он.

– И это он посоветовал меня Ланской.

Еще одна пауза.

– Да.

– А ты мне ничего не сказал.

– Маша. – Он затормозил у перехода, пропуская женщину с коляской. Женщина шла медленно, коляска подпрыгивала на трамвайных рельсах, и это длилось, казалось, бесконечно. – Я не мог. Пока не мог. Это не мое. Это Костино.

– Что Костино?

– Все, – сказал Корсаков. – Его дела. Его жизнь. Я тебе расскажу. Честно. Я только сначала должен сам понять, во что он влез.

Маша отвернулась к окну. Они ехали по Большой Пушкарской, мимо булочной, мимо аптеки, мимо цветочного киоска, у которого стояли ведра с пионами, первыми, тугими, нераскрывшимися. Она думала, что сейчас надо обидеться. Глеб бы на ее месте обиделся непременно, и не разговаривал бы три дня, и все три дня громко хлопал бы дверьми. Она тоже умела обижаться, бабушка говорила, что у нее это от деда, который однажды не разговаривал с соседом по даче одиннадцать лет из-за спиленной березы.

Но обижаться почему-то не получалось. Получалось другое. Она вспомнила, как утром Белов смотрел на Корсакова у дверей, и как задернулась штора у него в лице. И как Белов хромал по лестнице, ставя на каждую ступеньку сначала правую ногу.

– Он тебя боится, – сказала она.

Корсаков быстро взглянул на нее.

– Белов. Он тебя боится. Не как начальника. Как будто ты про него знаешь что-то такое, за что тебе стыдно будет на него смотреть.

Корсаков долго молчал. Они въехали в арку, во двор, к сирени. Он заглушил мотор, но выходить не стал. Сидел, смотрел перед собой. Брут сзади вздохнул и улегся.

– Ты страшный человек, Верещагина, – сказал он наконец. Без улыбки. – Я двенадцать лет допрашивал людей. У меня так не получалось.

– У тебя не было бабушки-актрисы.

– Была. Другая. Она вязала шарфы.

И вот тут он все-таки улыбнулся, коротко, одним углом рта, и Маша увидела на его щеке ту самую ямочку. Он взял ее руку, лежавшую на колене, и сжал.

– Дай мне три дня, – сказал он. – До четверга. В четверг я с ним встречаюсь, и тогда все будет понятно. И я тебе все расскажу. Договорились?

– Договорились, – сказала Маша.

Потом она часто вспоминала этот вечер. Сирень, арку, его руку. И то, как легко она сказала «договорились». И как она тогда не знала, что этот четверг они оба запомнят на всю жизнь, только совсем не так, как собирались.

Глава 3

Дневник нашелся во вторник, в самом конце дня, когда Маша уже собиралась домой.

К тому времени она разобрала четыре коробки из двадцати шести и составила опись на сорок страниц. Работа шла так, как она любила: медленно, по порядку, без спешки. Маша брала из коробки пачку, развязывала тесемку, раскладывала листы на чистой промокательной бумаге, смотрела, записывала, иногда фотографировала, если лист был совсем плох. Потом пачку складывала обратно, но уже в бескислотную папку, и папку подписывала карандашом. Вера Григорьевна сидела напротив, через стол, и вела свою опись, картинную, и время от времени, не поднимая головы, говорила что-нибудь вроде: «Это Мещерская писала, узнаете почерк? Она в каждом письме жалуется на мигрень, а дожила до девяноста четырех». Или: «Бросьте вы эту бухгалтерию, там только счета за дрова, я в двадцатом году на них диссертацию бы не написала». Курила она у окна, далеко высунув руку с сигаретой наружу, в сирень.

Коробка номер пять стояла на нижней полке, в самом углу, за пачкой старых газет. Это была не настоящая архивная коробка, а обычная картонная, из-под чего-то бытового, с полустертой надписью «Пылесос Ракета». Маша вытащила ее, поставила на стол и сразу увидела, что с ней что-то не так.

Коробка была перевязана бумажным шпагатом, крест-накрест, и узел был завязан бантиком. Обыкновенным бантиком, каким завязывают шнурки. А на всех остальных коробках узлы были морские, плоские, тугие, затянутые намертво. Ланская сказала, что в девяностые этот архив упаковывала та самая сотрудница музея, у которой коробки жили под кроватью, и сотрудница эта, судя по узлам, была дочерью или вдовой моряка. Все ее узлы были одинаковые, как близнецы.

Кроме этого.

– Вера Григорьевна, – сказала Маша. – Эту коробку кто-нибудь открывал? После того, как ее привезли?

Ланская подняла голову, посмотрела на коробку поверх очков.

– Пылесос? Понятия не имею. Посмотрите карточку.

Карточка была приклеена на торце, внизу. Маша ее сначала даже не заметила. Белый картонный прямоугольник, разлинованный от руки, с графами «Дата», «Кто», «Цель». Почти все коробки на стеллажах были с такими карточками, Ланская ввела их в прошлом году, когда архив только перевезли, но графы почти везде были пустые. Кому нужен архив в башне, куда надо подниматься восемьдесят две ступеньки?

На «Пылесосе» в карточке была одна запись. Синей ручкой, мелким, ровным, очень красивым почерком с завитком на заглавных буквах: «12.03. Макаров В. П. Сверка по живописи».

– Виктор Павлович, – сказала Ланская без всякого интереса. – Ну да, он в марте сверял каталог картин по старым документам. Он тут все перерыл. Мне потом неделю пришлось раскладывать.

Маша развязала бантик.

В коробке лежали хозяйственные книги. Расходные, приходные, книга учета дров, книга учета вина, все толстые, в мраморных бумажных обложках, потертые на углах, а под ними, на самом дне, лежала тетрадь. Другая. Не конторская, а в коленкоровом переплете темно-зеленого цвета, с медными уголками, один из которых отвалился. Тетрадь была пухлая от сырости, страницы покоробились волной. На первой странице было написано по-русски, но с какими-то немного чужими, остроугольными буквами, явно рукой человека, который учился писать на другом языке: «Журналъ управляющаго домомъ Ея Сіятельства княгини Е. Н. Галицыной на Каменномъ острове. К. Ф. Ленцъ. Начатъ 1-го января 1916 года».

Маша села.

Она потом не помнила, сколько просидела над этой тетрадью. Ланская ушла в шесть, сказав, чтобы Маша не забыла выключить свет и закрыть окно, а то в башню залетают летучие мыши. Корсаков позвонил в шесть пятнадцать и спросил, ждать ли. Маша сказала, что еще час. Потом позвонил в семь пятнадцать. Потом в восемь, и в этот раз ничего не спрашивал, сказал только: «Я внизу, у ворот. Не торопись».

Карл Францевич Ленц был человек обстоятельный. Он записывал все. Сколько куплено овса для выездных лошадей, сколько заплачено трубочисту, что сказал доктор про подагру княгини и что сказал садовник про сирень, которую побило майским морозом. Он записывал погоду, каждый день, и курс рубля, и цены на хлеб, которые росли и росли, и Маша, листая, видела, как эти цены ползут по страницам вверх, как ртуть в градуснике у больного. Шестнадцатый год. Семнадцатый. Февраль. Записи стали короче, а почерк неровнее. Ушли выездные лошади, их реквизировали. Ушел садовник. Ушла горничная Даша, вышла замуж за матроса. Княгиня перестала выходить из своих комнат.

А в марте восемнадцатого года Ленц записал вот что.

«Марта 4-го. Морозъ. Ея Сіятельство изволили призвать меня и Евграфа и изволили объявить, что Кладовую надобно спрятать. Сказали: “Карлъ Францевичъ, все возьмутъ, а это пусть останется дому. Можетъ, когда вернемся”. Я позволилъ себе спросить, куда. Ея Сіятельство изволили указать на свой портретъ въ галлерее. Евграфъ сказалъ, что сделаетъ, какъ при старомъ князе делалъ съ иконами: холстъ съ подрамника снять, Кладовую положить лицомъ къ холсту, обернувъ папиросною бумагой, и натянуть обратно на тотъ же подрамникъ, на старые гвозди. Сзади закрыть доской. Ни одна живая душа не догадается. Портретъ большой, Кладовая въ немъ уйдетъ вся, съ запасомъ».

И ниже, другими чернилами, через неделю:

«Марта 11-го. Сделано. Евграфъ работалъ ночью. Я светилъ. Ея Сіятельство приходили смотреть и плакали. Сказали, что Снейдерсъ изъ столовой это единственное, что покойный князь любилъ больше охоты. Велено никому. Записываю для того, кто будетъ после меня, если будетъ».

Дальше было еще несколько страниц. Про отъезд, в мае, через Финляндию. Про то, что княгиня взяла с собой только маленький саквояж и икону, и что на прощание обошла весь дом, все комнаты, а в галерее долго стояла у своего портрета. Последняя запись была сделана в июне, уже другим, совсем дрожащим почерком: дом занимают под какой-то комитет, Ленц остается при доме «по ключамъ», ему разрешили, так как он умеет топить котлы. Больше записей не было. Остальные страницы тетради были пустые, волнистые от сырости.

Маша сидела и смотрела в окно. В окне была сирень, а за сиренью Малая Невка, светлая, перламутровая, и по ней медленно шла байдарка с двумя гребцами в красных куртках. Было без двадцати девять. Было светло, как днем.

Снейдерс. Фламандец. Натюрморт из столовой, который покойный князь любил больше охоты. «Кладовая». Значит, большой холст, с битой дичью, с фруктами, с омарами, с собакой, которая тянется к столу. Маша видела такие в Эрмитаже, в зале, где всегда было много народу и где маленькие дети, задрав головы, громко считали зайцев. Сто с лишним лет этот холст пролежал лицом вниз под портретом некрасивой княгини с веером. Под тем самым портретом, который висел сейчас внизу, на галерее, в простенке, и мимо которого она проходила по четыре раза в день.

Или не пролежал.

Она посмотрела на коробку из-под пылесоса. На бантик. На карточку с красивым почерком: «12.03. Сверка по живописи».

Ну и что, сказала она себе. Человек сверял каталог. Смотрел хозяйственные книги, где наверняка записано, что за картины висели в столовой, сколько стоили рамы и когда их покры-

вали лаком. Мог дойти до дневника на самом дне, а мог и не дойти. А если дошел, то, наверное, решил, что это легенда. Макаров сам сказал, что у каждого старого дома есть свои легенды.

Только он ничего такого не говорил. Это Ланская сказала. Про бриллианты.

Корсаков ждал у ворот, прислонившись к машине. Маша вышла к нему с тетрадью, завернутой в чистую бумагу и прижатой к груди, и он, ничего не спрашивая, открыл ей дверь, а когда она села, положил ей на колени бумажный кулек с чем-то теплым. В кульке были пирожки, с капустой, из булочной на Большой Пушкарской.

– Ты не обедала, – сказал он.

– Обедала. Клубникой.

– Это не обед, – сказал Корсаков. – Это десерт.

Дневник Маша решила никому не показывать до утра. Это было неправильно. Это был архив фонда, и все, что в нем находилось, принадлежало фонду, и выносить его из башни, по правилам, было нельзя. Но она должна была его прочитать еще раз, с лупой, со своими очками для близкой работы, которые она называла «телескопом», в тишине, без летучих мышей. И она прочитала. Дома, на кухне, под лампой, пока Корсаков жарил картошку, а Брут сидел у его ног и ждал, не упадет ли кусок. Прочитала, переписала от руки, сфотографировала каждую страницу. Корсаков ни о чем не спрашивал, только один раз подошел сзади, посмотрел через плечо на страницу с мартом восемнадцатого года и долго молчал.

– Это правда? – спросил он.

– Это управляющий. Немец. Такие не придумывают.

– Сколько это может стоить?

Маша сняла «телескоп» и потерла глаза.

– Если Снейдерс настоящий, а не мастерская, – сказала она, – и если он сохранился... Я не знаю, Илья. Я не по живописи. Очень много. Столько, что лучше бы его не было.

В среду утром, в одиннадцать, когда пришло начальство, Маша спустилась из башни с дневником.

Они собрались в кабинете Штерна на первом этаже, в бывшей библиотеке, где от библиотеки остались только пустые резные шкафы до потолка и камин с изразцами. Штерн сидел за огромным столом, заваленным бумагами, и, как всегда, держал в руке телефон. Макаров стоял у окна. Ланская сидела в кресле у камина, курила, и никто ей не делал замечаний. И еще в кабинете оказалась княжна, которая, судя по всему, пришла к Штерну со своими обычными претензиями и уходить не собиралась. Она сидела на краешке стула у двери, в своей шляпе, держа трость обеими руками.

Маша рассказала. Положила на стол дневник, открыла на марте восемнадцатого. Штерн прочитал, шевеля губами, потом еще раз, медленно, водя по строчкам пальцем. Потом положил телефон экраном вниз. Маша поняла, что это значит у него очень многое.

– Снейдерс, – сказал он. – Под княгиней. Витя. Витя, ты слышишь?

– Слышу, – сказал Макаров от окна. Голос у него был ровный, бархатный, такой же, как всегда. Но он не повернулся. – Прелестная история. Я ее, кажется, читал. В марте. Не придал значения.

– Почему?

– Потому что таких историй, Вадим, в каждом втором петербургском особняке по три штуки. – Макаров наконец обернулся, улыбнулся. – Зашитые бриллианты, замурованные сервизы, Рембрандт в печной трубе. Я двадцать лет этим занимаюсь. Девяносто девять процентов – фантазии. А тут еще управляющий, немец, на старости лет. Ностальгия. Хотелось, чтобы что-то осталось.

– А один процент?

Макаров развел своими длинными руками.

– А один процент мы проверим, – сказал он. – Конечно. Рентген, инфракрасная съемка. Не снимая холста. Можно в следующем месяце, когда приедет аппаратура.

– В понедельник, – сказал Штерн. – Аппарат из Русского музея в понедельник у нас и так будет, для иконостаса. Пусть заодно посветят княгиню. Вера Григорьевна, запишите.

Ланская кивнула и что-то черкнула в блокноте.

А княжна поднялась со стула. Медленно. Опираясь на трость. Подошла к столу, посмотрела на открытый дневник. Наклонилась низко-низко, почти касаясь страницы полями шляпы. Она, наверное, плохо видела. Потом выпрямилась.

– Я же говорила, – сказала она тихо. – Я вам всем говорила. Что прабабушка оставила здесь самое дорогое. Отец говорил. Дед говорил. А вы смеялись. Они смеялись, – повторила она, глядя на Машу, и голубые выцветшие глаза у нее вдруг налились слезами. – Самое дорогое. Пусть останется дому.

Маша не знала, что сказать. Штерн, кажется, тоже не знал. Он встал, обошел стол, взял княжну под локоть, и она не отдернула руку, впервые за все эти дни.

– Ирина Георгиевна, – сказал он. – Если он там, он ваш. Я вам обещаю. Хотите, при вас будем смотреть? В понедельник?

Княжна посмотрела на него снизу вверх. Долго. Потом сказала: «Хочу», и вышла, и в коридоре стало слышно, как стучит по плитке трость.

Макаров у окна поправил шейный платок.

До вечера все было спокойно. Маша работала в башне, вписывала в опись письма из шестой коробки, но работа шла плохо, она то и дело ловила себя на том, что смотрит в окно и думает о гвоздях. «Натянуть обратно на тот же подрамник, на старые гвозди». Если кто-то натянул обратно, то тоже, наверное, на старые гвозди. На старые дырки. Гвозди в восемнадцатом году были кованые, квадратные в сечении, с широкими шляпками. Таких теперь не делают. А дырки от них в кромке холста остаются особые, рваные, четырехугольные, и если в такую дырку вбить современный гвоздик, круглый, он ляжет немного по-другому. Совсем чуть-чуть. Но на рентгене будет видно.

Если, конечно, было что натягивать.

В половине седьмого она спустилась вниз. Корсаков написал, что задерживается, будет в семь. Маша вышла в сад подождать. Вечер был теплый, тихий, медовый, и в сирени гудели шмели, а по газону ходил черный дрозд и выдергивал из земли червяка с таким усилием, будто тянул канат. Маша пошла по дорожке вдоль дома, к старой беседке на берегу, о которой ей рассказывала Ланская. Беседка оказалась ротондой с колоннами, облупленной, с проваленным полом, вся оплетенная девичьим виноградом. Маша не успела до нее дойти.

Из-за угла дома, из-за сирени, донеслись голоса.

– ...второй месяц ты у меня просишь! – Это был Штерн, Маша узнала его сразу. Только голос был совсем другой, без всякой шумной веселости, жесткий, злой. – Второй месяц, Костя! Я тебе давал. В феврале давал. В апреле давал. А теперь у меня в фонде дыра, понимаешь? Дыра! Сорок миллионов! И я не знаю, куда они делись!

– Вадим Аркадьевич, вы меня не так поняли. – Это был Белов. Голос у него был тихий, ровный, но Маша услышала, как он дрожит, где-то на самом дне. – Я не про деньги. Я пришел вам сказать...

– Я все понял! Я не мальчик! У меня охрана, которая просит денег, и касса, из которой уходят деньги. Это, знаешь, даже я могу сложить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.